

Сентябрь

12+

Московец Михаил Евгеньевич

Михаил Московец

Сентябрь

«Автор»

2018

Московец М. Е.

Сентябрь / М. Е. Московец — «Автор», 2018

Все мы живем в мире по определенным канонам, шаблонам, уже привыкли к ним и редко задумываемся о сути нашего предназначения, о том, кем мы хотим быть. Один человек, который, как ему кажется, осознает иллюзорность и притворство со стороны общества и людей - в их поведении, эмоциях, интересах, образе жизни. Друг детства, знакомый доктор, случайные прохожие – через них он пытается раскрыть свою истину, свои идеи. Зерно падает в плодотворную почву - мысли не пролетают мимо, а захватывают и укореняются в умах людей, сподвигая их на изменение своего образа жизни и мышления.

© Московец М. Е., 2018

© Автор, 2018

Сентябрь

*Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!*

*Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!
М.Ю. Лермонтов, «Пророк»
*Смотри: вот идет человек!
Он живой.
Живет он собой и своею душой.
Но будет ли жить так вовек?**

Чёрно-белый человек, чёрно-белый лик... Целомудренная красота окружает нас, она в нас самих, но мы видим только стоящую перед нами ширму с куклами и слышим голос кривляющегося фокусника. Помните, как у Платона? Мы люди, обычные люди, живущие в пещере, скованные цепями, которые сами же на себя надели; позади нас горит огонь, а впереди нас каменная стена, на которую падают тени реальных предметов, но мы считаем существующими только сами тени. Часто ли мы задумываемся о том, сколько вокруг нас нетронутой чистой природы, сколько вокруг нас истых чувств и эмоций? Редкий человек их замечает, неправда ли? Разве ищущий смотрит по сторонам в поисках чего-то большего, нежели красочные тени под нашим носом, всё играющие без устали и раздражающие нас своими плясками, подsunутые нам извне для нашего беспробудного сна? Мы исходили каменный проход от огня до стены, но выбирались ли мы из человеческой пещеры для познания реального и для познания себя? Кто вышел из пещеры и вдохнул полной грудью свежий воздух? Или же мы дышим гарью и копотью? Мы замкнулись в своих шорах и не хотим поднимать глаза и видеть сквозь них. А мир преподносит нам истинное величие. Видел ли ты ты, читатель, горный водопад с ледяной каждой клеточку тела водой? Поднимал голову вверх ночью и наблюдал за темным и чистым небом? Просто стоял и смотрел за мерцанием звёзд, светом луны, за облаками, тучами, падением кометы за горизонт. Замечал ли ты, как выглядит Любовь? Нет, не что это такое, это каждый знает для себя сам, а как она выглядит на других лицах, на других людях? Присмотрись, очень любопытно, самому любить захочется. Как часто мы смотрим дальше своего носа? Как часто мы открываем глаза, раскрываем веки и смотрим далеко-далеко вокруг, вдаль?

И слышим ли мы себя?

Тесная неосвещенная квартирка, в единственную комнату, с кухней для одного человека. Эта коморка словно бы предназначена для него, физического; для широты его мысли она очень мала. Неприглядный дом, третий этаж, железная дверь подъезда, каменная холодная лестница, когда-то бывшая полностью лазурной; сейчас же можно было разглядеть лазурь только в самом краю, у стены, где бегают разве что мыши. На каждом этаже по одному грязному плафону с тщательно горящей лампочкой; запачканные стены, то ли детьми, то ли пьяными и бездомными...

В единственной комнате, служившей в то же время и кабинетом, у стены, боком смотря на дверь, стояла односпальная железная кровать с толстым и мягким матрасом. Слева от двери

стоял стол из какого-то дешевого, но весьма крепкого дерева, с двумя тумбочками по бокам и выдвигающейся полочкой под столешницей. На самой столешнице одиноко обитали часы ещё царских времен, старинные и позолоченные, доставшиеся по наследству от бабушки; но время на них не шло: секундная стрелка поначалу некоторое время билась в конвульсиях, но затем стихла. Справа на столе были разбросаны листы бумаги: что-то на них было написано, что-то зачеркнуто. Вокруг листов образовалась едва заметная пылевая поросль. Придвинутым к столу смиренно стоял стул, будто бы отказывающийся разъединяться со своим могучим другом хоть на секунду. Напротив них, по правую сторону от двери, находился небольшой одностворчатый шкаф, тоже деревянный, но стоящий важно, особняком, точно выполняя важную партизанскую операцию. В самом деле, важную: в нем висел он – выходной костюм, предназначенный для «особых» случаев; еще и пара рубашек, брюки, но на них шкаф не обращал никакого внимания, они были незначительными гостями в его обиталище.

Кухня тоже не была вычурной: маленький столик с четырьмя ножками, тоненькими и деревянными; стул, похожий на своего комнатного собрата. Над столом было окно, и порой он часами напролет смотрел на уличную жизнь, на её взлеты и падения, радость и горечь. Окно большую часть дня находилось на солнечной стороне, так что весьма скоро в квартире становилось жарко.

– Порой мне кажется, Филя, что вокруг меня окружает какая-то ширма, куда ни посмотри – везде она, из простой тряпичной ткани. Вместо прохожих передо мной предстают образы с надетой поверх маской, навязанной историей. Стою и наблюдаю за масками, играющими самую жизнь, претендующими на эту игру, понимаешь ты весь абсурд? Я... я понимаю это, – он озадаченно посмотрел вниз на свои башмаки. – Они ходят взад и вперед, вдоль и поперек, разговаривают, бранятся, веселятся, ждут. Но ради чего? Ради того, что это должно, Филя. Люди делают то, что они считают должным делать, а не то, что хотят и к чему расположены душой. Я хочу заглянуть за эту преграду, воздвигнутую самим человеком, и увидеть лицо, которое выразит мне всю боль угнетающей жизни либо удивит своим великим счастьем. Но вместо этого я вижу погруженные в свои дела головы, никак не интересующиеся внешним миром, лица, не выражающие и толики искренних эмоций, которые им предписаны природой. Я думаю, – он замялся, – это из-за того, что мы боимся. Да, просто боимся открыться миру, людям, показать свою неповторимую душу и поэтому обманываем сами себя. Боимся, что высмеют, не признают, плюнут, и держим в себе. А оно затихает внутри, меркнет и, наконец, гаснет, – так говорил, находясь в своей маленькой квартирке, Иван Богданович Шапошников.

– Друг мой, я тебя всё-таки не понимаю. Вот уткнулся какой-нибудь Иван Иваныч в свою книгу или иную вещичку, ходит он, не интересуется миром – и бог с ним. Тебе какое же дело до жизни этого Ивана Иваныча? Поперек горла он тебе встал, что ли? У него, может, горе, может, ему наплевать на весь мир вокруг, презирает он людей, стесняется, мало ли что. Ну а вдруг внутри него сидит тонкая чувственная натура, видящая все краски мира и переживающая их каждую секунду. Но вот такой он закрытый, живёт своими красками и комфортно ему. Зачем его заставлять восхищаться миром на людях? Зачем ему, превозмогая себя же самого, открываться, если и правда могут высмеять и плюнуть вдобавок. Знали таких людишек, способных на подобные гадости. Есть вещи в жизни поважнее, чем интересоваться делами окружающих и незнакомых, чем восхищаться закатом и прочим, уж поверь. Почему именно тебя это так задевает? Тебе не нравятся люди, тебе не нравится работа, тебе не нравится твоя же, Ваня, жизнь! Одумайся, пока не поздно, отбрось от себя бесполезные философствования о смысле нашего Бытия, – отвечал ему друг детства Филипп Кириллович Загородский.

– Филя, но почему бы нам, людям, не делать в жизни то, что мы хотим? Это ладно, ещё не самое главное, подожди, – Иван сделал знак указательным пальцем, чтобы Филипп повременил с речью, но тот и не собирался перебивать. – Почему мы не хотим показать себя, открыться и быть истыми? Мы держим в себе огромный спектр чувств, которые... хотят быть выражены

ными, мы сами втайне желаем их показать, но они так и остаются внутри в целомудрии. Боимся ли открыть свою душу миру, стесняемся ли людей, правил, общественного мнения? Не пойму я этого. Мир прекрасен, а мы эмоциональны и чувственны по своей натуре. Но что-то не так с нами, мы этого не понимаем. Вот ответ мне как другу, искренне: чего ты ждешь от своей жизни? Чем ты грезишь?

– Ну, – Филипп малость растерялся от неожиданности, – я не задумывался как-то об этом, – промямлил он. – Жена у меня хорошая, ты знаешь (Иван виделся с ней пару раз в жизни, но представления не имел, что она за человек), дети растут умницами, скоро старший в университет поступит, работа у меня стабильная, высокооплачиваемая, никто не донимает. Однако я и не думал как-то, чего я поистине хочу, – он задумался. – Наверно, чего я хотел, я добился. Не добился бы, если бы не хотел и если бы было противно, так я считаю, – он вопросительно уставился на Ивана в ожидании ответа.

– Ты никогда не думал о том, чего бы хотел больше всего в жизни?

– Видимо, нет, Ваня, а обязательно надо хотеть чего-то сверхъестественного – быть оперным певцом или гимнастом? Горшки же надо кому-то обжигать как ни крути.

– Но горшки можно и дивам обжигать, разве нет? – Иван усмехнулся. – Филя, я хочу, чтобы каждый человек услышал свой внутренний голос и последовал ему. Я хочу, чтобы ты его услышал. Видишь, я спросил у тебя про твои мечты, а ты мне рассказал про твой жизненный распорядок. Это мне говорит образ благополучного и удачливого Филиппа Загородского. А настоящее где же, Филя, твоё сущее? В детстве ведь мы с тобой по целым дням мечтали: воображали себя римскими императорами на колесницах, богами Олимпа, великими художниками. А кто мы сейчас? Конторщики да банковские служащие. Мы мечтали покорить мир! А что сейчас? Пустота и забвение, – Иван пристально вглядывался в глаза своего друга, которые при слабом свете висящего на стене бра казались серыми.

– Ну, это было детство, сейчас нужно быть приземленнее и целеустремленнее, даже я бы сказал – прагматичнее, – он усмехнулся. – Мы выросли, Ваня, стали дядями, теперь нам непростительно мечтать, это ребячество.

– Почему? Ребячество – быть самим собой и давать себе волю? Отнюдь. Я хочу, чтобы ты был самим собой, а не образом, не подобием человека с прописанной судьбой, понимаешь? Я пытаюсь найти чувства в глазах людей, но там лишь пелена, стена, сквозь которую мой пыливый взор просочиться не может...

– Ваня, не неси чепуху! Какая пелена, о чём ты сейчас пытаешься мне сказать? У всех людей вокруг есть чувства, душа, они способны любить и страдать, ощущать и переживать. Не пытайся строить из себя героя поколения, великого страдальца, который вдруг увидел порочность людей и старается донести до них суть! Не нужна твоя правда людям, поверь. Я не желаю больше тебя слушать! Прощай! – Филипп заканчивал эту тираду уже в дверях, встретив растерянный взгляд Ивана, потом махнул рукой и вышел покрасневший; он сам не ожидал от себя, что такое выпалит.

Иван, пребывая в легкой прострации, продолжал стоять, облокотившись на стену и все еще вперившись в дверь, куда так недавно скрылся Филипп. Смятение касалось его самого – может, он не так говорит? не то делает? Филипп был положительно консервативный человек, в некотором роде даже закоренелый – в лучших традициях помещичьего дворянства былых времен. «Видно, мысль слишком сложна, чтобы передать её словами. Об стенку бы не биться только без толку», – заключил он. Ничего противоестественного нет в том, чтобы послушать себя, на минуту остановиться на улице и услышать взывающий глубоко в тишине голос сердца, а потом последовать ему, так он думал. Стоит лишь избавиться от надвинутых на глаза шаблонов и быть свободным – вот и всё. Но на практике ничего из этого не выходило донести.

Иван прошел в кухню и присел на стул, небрежно бросив руки на стол. Так же безучастно он перевел глаза на то, что происходило за окном: там лишь бережно передвигались люди по

улице, словно шагали по проторенной веками дорожке, с которой ни в коем случае нельзя сходить. Лишено смысла, пусто и серо. Вдали виднелся купол, позолоченный купол. Иван ощутил себя князем Мышкиным и усмехнулся этому, сопроводив резким мелким выдохом. «Идиотом бы не стать. Того и гляди, придет такое время», – подумалось невзначай. Внутри себя уже некоторое время он ощущал зарождение чего-то нового и сильного, ранее ему неизведанного. Захотелось развеяться и подышать воздухом. Он обулся, взял пальто и вышел.

– Здравствуйте, Иван Богданович, – сказали с противоположной стороны лестничной площадки.

– О, здравствуйте, Семен Степанович, давно вас не видел. Как поживаете? Как жена?

– Ничего, спасибо, сводим концы с концами и ещё немного остается. Маша приболела, лежит уже пару дней бледная, с жаром, полотенца меняю каждый час. Не могу смотреть на неё, душу берет, всю берет, будто пальцем выковыривают изнутри, – и Семен Степанович показал своим крючковатым пальцем, как у него из груди выковыривают душу. – Сейчас Надя осталась с ней, я за лекарствами.

– А чего же вы не хотите врачей вызвать?

– Да будет с них. Приедут, головами покачают, скажут: «Класть надо, здесь не выживет никак». А со мной вон уже четвертый день живет и ничего, вроде сегодня даже получше, не бредила во сне, спала покойно. Ну положут они её в беленькую палатку, наделают уколов так, что моя встать не сможет, капельницу поставят ей в её ручку-то худенькую, и будет она так лежать неделю, две, три... А я всё приходите к ней буду, смотреть в её впалые глазки, душу будет ещё больше брать, совсем не выдержу тогда. Но ведь ей же тоже плохо: знаете, сколько у них таких, как моя, лежит там, – Семен Степанович пригнулся и выжидательно посмотрел в глаза Ивану.

– Небось много.

– Верно, Иван Богданович, верно. У них на всех нет лекарств, рук не хватает, медсестер. Вот они там и лежат неделями. А сейчас ещё сентябрь, ветер гуляет только так, найдет лазейку в стене – и всё, – он развел руками.

– Может быть, я могу чем-нибудь помочь?

– Спасибо, добрый вы Иван Богданович, но чем поможете? Разве что полотенца мне подавать да форточку иногда приоткрывать, чтобы спертый воздух улетучивался, о большем не могу просить, совестно. Да и сами управляемся покамест.

– Хорошо, но, если понадобится – стучите.

– Спасибо вам большое, добрый вы человек. Припеваючи жили бы, кабы побольше таких на свете! – он с восхищенными глазами пожал протянутую руку своими двумя и пошел прочь.

День был серый, как и вчера, и позавчера... Лёгкий осенний ветерок подбирал уже оранжево-бордовые упавшие листья и уносил их за бесцветные крыши домов, вдаль, к старающемуся всеми своими желтыми силами показаться из-за туч солнцу... Не имея понятия, в какую сторону ему направиться, Иван стоял в нерешительности около своего дома. «Как здесь спокойно и тихо», – он вдохнул полной грудью сентябрьский запах листьев, присаживаясь на скамейку и не желая шагнуть куда-либо ещё.

Иван был знаком с Филиппом уже много лет. В детстве они вместе дурачились и проказничали, доставляя немало проблем взрослым, прежде всего своим родителям, каждый раз с подлинным остервенением клявшимся увести детей друг от друга на разные концы света, но снова и снова смягчавшимся при виде слез, наворачивающихся на детских глазах. Потом пришла школьная пора: они просидели за одной партой до самого выпуска. Детские забавы переросли в нечто более взрослое в плане затейливости, но такое же ребяческое по своей сути. Вновь были клятвы и угрозы, но спасали уже не слезы, а уговоры и обещания и, как ни странно, отличная учеба. Да, учеба им двоим, вместе, давалась легко. После окончания школы, уже заматеревшие, с высокими идеалами и соответствующими им амбициями, смотрящие широко

на жизнь, они поступили в один университет. Эти неразлучные люди понимали друг друга с полуслова, как никто другой. Но в последнее время они отделились: Иван ходил задумчиво большую часть дня, а Филипп особо не докучал ему своими расспросами и беседами, работая дома. Что-то произошло с ними. Филиппу казалось, что у Вани просто меланхолия, что ему надо побыть одному, «обдумать Бытие», как говаривал он жене. Иван просто как-то разочаровался в Филиппе и в первый раз за их жизнь чувствовал к нему если не отвращение, то приличную долю неприязни. Это был уже не амбициозный, харизматичный и дерзкий Филя, а косный, бесхребетный Филипп Кириллович. Они пока не могли отыскать тот общий путь, по которому шли раньше.

Иван видел, как жизнь, с её радужными красками, проходила мимо, мимо каждого из нас. Он это видел – на не выражающих никакую глубину души и мысли лицах людей, показывающих только усталость и тоску; в бессмысленных разговорах людей о псевдоважных вещах, разговорах «не о том», не о душевном и глубинном, а о поверхностном и безразличном; на темной тканевой одежде, настолько доходящей у каждого до земли, что видны были разве что подошвы ботинок; на голые и одинокие улицы, обделенные солнцем жизни; на цвете стоящих вдоль них домов, своими окнами уныло и равнодушно смотрящих на широкие лужи, в которых изредка пролетали птицы.

Прогуливаясь по улицам, он порой нет-нет да и замечал заплутавшего в этом забытом месте солнечного зайчика, на которого тут же набрасывалась дворняга или облезлый кот, непонятно откуда выскакивавшие. Мимолетная радость сглаживала докучавшие мысли. Но зайчик быстро осознавал своим смышленным заячьим мозгом, что попал куда-то не в то место, что на этих улицах ему делать нечего. Он быстро исчезал, улетал в тепло и радость, как бы собака ни изливалась на него.

Ивану не нравилось поведение людей. В них он стал замечать искусственность, от которой так и веяло чем-то мерзким и подлым. Выделанные до ушей улыбки, тихие сплетни за спиной, жалкое подбострастие, заискивающие глаза, везде ищущие выгоду; наглость лицемерия, исключительное до того, что человек уже сам не понимает, где он откровенен, а где искусственен, подобно игре, где выигрывает тот, кто покажет больше рожниц, больше характеров и лиц, – только мы созданы жить, а не играть, вот в чем загвоздка, вот что люди забывают: перестать играть и начать жить. Сейчас он не замечал и того, что всегда двигало человека вперед, – тяги жизни. Не было чувств, не было в мыслях других того высокого, ради чего мы существуем. На лицах замерло какое-то недоумение, граничащее со страхом, проявляющееся в моменты, когда человек потерялся и не знает, что ему делать. «Кто я? Где я?» – вопрошает проснувшийся в темной комнате человек, а ответить ему может одна лишь пустота. Так говорят и их потерянные лица. Люди каждый раз просыпаются в темной комнате и молча сидят на кровати, не стараясь выбраться, ждут. А жизнь опять и опять проходит где-то вдали. Радужные краски кажутся миражом, счастье – мифом, недоступным никому в здешней далекой земле.

Эта боязнь была надуманна, иначе и быть не может – Иван думал так. Иначе и быть не может...

«Но что мне теперь делать с такой ношей? Что менять? Как говорить, когда не знаешь, что говорить? Что делать, когда не знаешь, что делать? Как Великие находили выход из сложных ситуаций, как меняли окружающих, как влияли на движение жизни? Кто им подсказывал?» И он вспоминал про озарения среди бела дня, про вещие сны и прочее.

Конечно, Филипп зайдёт к нему на днях, они помирятся, всё станет по-прежнему хорошо. Но для кого хорошо? Иван глубоко желал, чтобы его поняли на чувственном уровне, чтобы прониклись тем, что пыталась донести его бессвязная речь. Но до теперешнего момента все попытки были тщетны, Филипп не мог его услышать, хотя и, очевидно, пытался. Каждый раз начинались беседы, безуспешные попытки растолковать своему другу то, что накопилось в нем,

подсказать ему или попросить его совета. Он пытался заглянуть в лицо своему лучшему другу, приоткрыть холщовый занавес, но раз за разом терпел крах.

Иван сидел на скамейке и смотрел на пролетающие мимо облака. Он поднял руку, чтобы почувствовать ветер, и легкий осенний бриз лениво пролетел по его кисти, между пальцев, мягко поглаживая кожу. Это было упоение – да, поистине упоение миром; ветер принес гармонию на сердце, и Иван был ему благодарен. Неожиданно перед глазами стали всплывать воспоминания прошлых, давно минувших лет. Он услышал детский визг, свой же детский радостный визг. Пробежал мальчик, быстро оборачиваясь куда-то назад и улыбаясь до ушей. Что-то больно кольнуло в сердце. Следом за малым бежал паренек постарше, страшно крича и выставляя руки вверх словно самое жуткое чудовище, которое скорее вылезло бы из кожи, чем упустило жертву. «Максик...» – он протянул дрожащую руку к чудовищу. Старший приостановился, мягко опустил свои белесые руки, недоуменно повернул голову куда-то вбок, туда, где сидел на скамейке взрослый человек, задержал глаза, которые уже повлажнели. «Ваня... ты так вырос», – сказал он и развернулся в сторону скамейки. «Максик, я скучал...» – на большее не хватало сил, он и так огромным усилием сдержал ком в горле. Максик подошел и протянул руку, Иван схватил её своими и почувствовал. Они смотрели друг другу в глаза: мужчина и мальчик, настоящее и прошлое, жизнь и смерть. Не хотели отрывать взгляд, не хотели терять ни секунды на постороннее. Иван старался запомнить каждую деталь его лица, каждую клеточку, чтобы хранить его образ в своей голове ещё много лет, чтобы не забыть. «Мне пора, Ваня», – сказал Максик. «Нет, побудь со мной ещё, не бросай меня, – уже со слезами просил Иван, не отпуская руки, – останься, молю, у меня ничего нет, я один...» Но Максик высвободил руку и стал отходить назад. Он последний раз взглянул на Ивана, на своего некогда младшего брата. «Я рад, что кто-то из нас всё-таки повзрослел, Ваня», – он отвернулся, поднял руки вверх и побежал, уже не намереваясь выпустить маленькую жертву из виду. Иван смотрел вслед ему, но Максик забежал за угол и пропал. «Я не забыл тебя, никогда не забуду, Максик», – он тяжело откинулся к спинке и сидел, бессознательно смотря на крыши домов.

Окрестности города часто заливались неистовым визгом озорников; взрослые поначалу даже не понимали, откуда берется этот пронзительный звук.

– Стройка, что ли, у нас началась где-то? – спрашивали одни.

– Неужто наконец гаражи ставят? – подхватывали другие. – Как пить дать сталь скрежещет. Афанасий Никитич, видно, будет очень рад, давно эти гаражи выбивает, уже год четвертый, если память не изменяет.

Со временем все поняли, что это никакие не гаражи, и отчаялись. Афанасий Никитич до последнего отказывался верить, вскакивал каждое утро от визга и смотрел в окно – не приехали ли грузовики с нержавеющей сталью (а она снилась ему каждую ночь), не приволокли ли кран. В итоге и он смирился, однако опечалился ещё пуще прежнего.

А дети продолжали безостановочно пищать на всю округу. Взрослые с непривычки возмущались, гнали детей. «Идите прочь, бестии! Лучше бы гаражи поставили, прохвосты малолетние!» – надрывались они. Однако, сами того не замечая, привыкли к этим детским возгласам; они стали для них чем-то родным, без чего нельзя было уже и дня провести. Полюбили они детей, прибегающих в эти окрестности в поисках приключений. В городе ведь скучно: дома, переулки, ухоженные проспекты, люди в костюмах и плащах, театры и музеи – детям там негде резвиться. Вот они и убегали на окраины – туда, где было раздолье их воровато-пиратской душе. Они визжали, кричали друг на друга, дрались и валялись в пыли, грязи, драли колени о камни – но были счастливы, по-настоящему, по-детски. Что же может быть лучше в жизни, чем

лазать по деревьям и летать на тарзанках, громить муравейники, ощущая себя властелином мира, делать из веток оружие и играть в «войнушку»? Не гаражи же.

Каждый день или точно уж через день дети прибежали на окраины и исследовали местность. Здесь было много чего любопытного: заброшенный дом какой-то графини-вдовы, которая еще веке в 19 обитала тут в своем захолустном поместье одинешенька; неподалеку от её дома раньше стояли широкие бревенчатые избы, с покатыми крышами и стропилами, с огромными окнами и прикрывающими их расписными деревянными ставнями, но теперь уже всё заросло бурьяном и кануло в Лету; была тут и церковь Николая Чудотворца, вся белая, и только крыша была выкрашена в ярко-зеленый оттенок, с бесконечно добрым батюшкой с плотной еще без седины бородой, одетым на протяжении всего дня в темную рясу, который по воскресеньям собирал всех детей, кто только приходил, в единственной невысокой колокольне, и учил, рассказывая на ходу придуманные развеселые и поучительные истории; потом был обед – обычные щи с черным ломтем хлеба, но главное было не то, что преподносят, а как: было какое-то неведомое таинство, во время еды совершалось что-то величественное, и дети поголовно это чувствовали и внимали происходящему.

Была давно запустелая и никому уже не нужная постройка, в более-менее законченных два этажа, которой, вполне вероятно, предназначено было стать чем-то весомым (возможно, даже гаражом), но злой рок распорядился стоять ей вот так, с зашпаклеванными стенами, кое-где проглядывающими кирпичами и без крыши, тихо доживая свой так и не начавшийся век, ожидая полного разрушения под воздействием всех существующих четырех стихий.

Но детвора очень любила эти забытые всеми уголки, ведь там не смотрели взрослые, и они были королями на горе.

– Мам, мы гулять, будем поздно, – каждый раз говорил Максик и прихватывал за шкуру Ваню.

– Как, уже? Да вы хоть позавтракайте, я же испекла вам оладьи.

Тогда Максик шустро подскакивал к тарелке с оладьями, один запихивал себе в рот, а второй брал для меньшого, который в это время тщетно пытался всунуть ногу в зашнурованный ботинок. Завидев еду, он останавливался, выпрямлялся и томно глядел на этот аппетитный, мягкий и вкусный оладушек.

– Я хочу со сгущенкой, – он сунул брови и испытующе глядел на старшего брата.

– Нет, Ваня, запихивай оладушек так и идём, время не терпит. Помнишь, что у нас сегодня?

Ваня вспоминал, что сегодня по плану был заброшенный дом, посетить который они собирались уже очень давно, но всё не могли подгадать погоду. Священность оладушка была нарушена, он был низвергнут и бесчеловечно съеден Ваней за секунду.

– Максим, не поздно, – настоятельно просила мама.

– Хорошо, мам, – и они пускались в путь.

В дороге к ним присоединялись ещё ребята, и начинались громкие разговоры, шутки и споры. Они подходили к окраинам, где их, сами того не осознавая, каждый день ожидали жители, которым детские крики были бальзамом на сердце. Дети дружелюбно со всеми здоровались, интересовались об их самочувствии и спрашивали о бывшем доме графини (ныне просто развалине), хотя и сами уже знали всё про него наизусть. От этого дома веяло какой-то таинственностью, словно он был из мистических рассказов Эдгара По и Лавкрафта, которыми зачитывались дети.

– А там есть привидения? – спрашивали самые маленькие ребята.

– Нет, какой там, сейчас же день, а они только ночью выходят, – говорили постарше, презрительно смотря на малолетних.

– Нет там никого, это пустой дом, – успокаивал всех Максик. Он был самый старший среди детворы, их предводитель, и они все смотрели на него с упоением и уважали, поэтому его слова подействовали.

Дом (вернее, то, что от него осталось) был кирпичный, очень большой, но одноэтажный. Крыши не было, но на земле лежали глыбы камня, красновато-серого цвета, видимо, бывшие когда-то ей, но со временем потрескавшиеся и рассыпавшиеся от зноя и непогоды. Однако стены ещё стояли прочно; где-то оголился кирпич, в других местах красовался стойкий темно-серый цвет шпаклевки. Было видно, где ранее находились двери, а где – огромные, до пола, окна. Но внутри дома чинно правил сорняк, высотой почти до пояса, так что не везде была возможность ступить. Максик шел во главе по праву самого старшего. Он становился в дверном проёме и оценивал примерный путь до следующего проема – можно ли тут просочиться или слишком много сорняка, а дети послушно толпились за его спиной. Когда только Максик ступал в помещение, бывшее когда-то комнатой, или кабинетом, или библиотекой, тогда и дети гурьбой вваливались за ним и принимались рассматривать стены, трогать кирпичи, охать да ахать. Некоторые важно выглядывали в окно и воображали себя графом (который здесь никогда не жил) или почетным гостем, осматривающим владения своей пожилой знакомой.

Так они переходили из комнаты в комнату, дружно и молча. Один из бравых смельчаков заметил, что в стене имеются выступы, по которым можно забраться на самый верх стены. Он собрал всех вокруг:

– Друзья, товарищи (он подражал Ленину, хотя видел только пару картинок в журналах и едва ли знал повадки вождя революции), в это непростое время, когда мы с трудом одолеваяем сорняк, я хочу забраться вот на эту стену, – он указал на небольшую, метра в четыре, и толстую стену, возвышающуюся на ними; некоторые даже открыли рты, а он продолжал: – Я хочу забраться на эту стену, дабы вконец переломить войну против этого живучего врага, бесстыдно заполонившего весь дом.

– Не надо, тут высоко, – настоятельно сказал Максик, несмотря на радостные возгласы ребят.

– Да я мигом, одна нога тут – другая там, – он выпятил грудь и поднял голову, как заправский воин.

– Ты маленький, я сам посмотрю.

Гордость воина была попорана, он не смог смириться с таким унижением и растворился в толпе. Давно его не называли «маленьким», он и забыл уже, каково это.

– Максик, может, не надо? – спросил Ваня, весь разговор стоявший в стороне и тоже смотревший на стену с открытым ртом.

– Ваня, не переживай, я аккуратно. Посмотри, какие широкие выступы, – он наступил на один и занял всего половину; на второй спокойно поместилась бы ещё одна ступня. – Тем более нужно и правда обозреть, много ли нам ещё исследовать.

И он полез наверх, медленно и бережно, а все мальчишки стояли и смотрели на него, волнуясь. Они любили Максика, всем он был словно старший брат, добрый и храбрый. Он карабкался, выступ за выступом, проверяя каждый новый ногой и рукой. Через несколько минут он забрался на самую вершину и стал оглядываться.

– Ну как там? – неугомонно спрашивали ребята.

– Красиво там, – отвечал Максик и озирался. Подняться на несколько метров над землей хватило, чтобы по-новому взглянуть на мир. Открылось поле вдаль, заросшее чем-то желтоватым и высоким и убегающее к горизонту. Оно врезалось в могучие темные деревья, стремящиеся к небу, которое покровительственно положило на них свое размашистое крыло. С другой стороны открылась речка, из-под воды которой робко выглядывали валуны, разрезая воду. Над ней летали птицы, то падая вниз, будто желая освежиться в этой кристальной водичке, то поднимаясь обратно в вышину. Максик посмотрел на окраину, с которой они пришли: видне-

лись серые спичечные коробки, стоящие совсем близко, что можно было подумать, будто они от старости признательно облокачиваются друг на дружку.

– Много дома осталось? – не могли угомониться ребята.

– Нет, – он глянул и увидел, что осталась всего пара комнат.

Подул ветерок и так нежно обволок все его конечности, что Максик, в неге, закрыл глаза и раскрыл руки, представляя себя летящим.

– Максик!

Он услышал крик и опомнился. Тело его стало падать назад, к ребятам, но крик вернул его в сознание, он успел поставить ногу на край стены. «Фух!» – подумалось ему.

– Все хорошо, ребята, я спускаюсь.

Он медленно спустился, и они пошли добывать оставшиеся части сорняка, скрывающиеся в этом доме.

Так часто и проходил их день – в приключениях, исследованиях, играх и забавах. Дети возвращались домой счастливые и полные жизни и желания на следующий день опять окунуться в пучину походов и странствий под предводительством Максика.

Но в один день нить странствий оборвалась, цепочка великих походов разлетелась вдребезги о веретено судьбы.

Ваня сидел в своей комнате на подоконнике и смотрел в окно на ворон, как вдруг услышал пронзительный крик. Он приоткрыл дверь и изумленно вышел из комнаты. На полу около ванной на коленях сидела мама, рядом покойно лежал Максик; над ними ещё стоял папа. Тот быстро глянул на маму, потом резко на Максика и невольно отстранился к стене, закрыл лицо руками. Потом опомнился, побежал к телефону и начал что-то лихорадочно в него объяснять. Мама сидела и рыдала, хлопала Максику по щекам и трясла голову, проверяла пульс, переворачивала на спину, звала его и умоляла перестать, а он не отзывался. Максик ушел. Далеко и навсегда. Она взяла его на руки и всё ещё звала, упрашивая вернуться. Но никто не внял её мольбам, Максик остался глух. Бледным вернулся отец, опираясь всем телом на стену, словно бы не мог идти сам. Ноги его подкашивались, глаза не видели ничего и были мокрыми. На щеках были глубокие ручейки слез, стекавшие параллельно друг другу. Он сел у стены, не смотря на маму и Максика, стал рвать на себе волосы и затем спрятался в коленях, все вопрошая: «Почему же? За что?»

Ваня всё стоял, смутно понимая, а слеза уже падала по его розовой щеке.

– Мама, зачем ты его качаешь? – спросил он.

– Ваня, уйди...

– Мама, зачем ты его качаешь? – крикнул Ваня. Он видел, что Максик не двигается, что бесполезно его качать. – Что с ним, мама?

– Сынок... – она снова зарыдала и уткнулась лицом в мертвое тело.

Ваня стоял и не знал, что делать. Слезы проступали у него на глазах, к горлу подходил огромный ком, руки начинали трястись. Он бросился к Максику и начал его тормошить:

– Вставай, Максик, идем на улицу, к ребятам. Они же ждут тебя, вставай, они же ждут, Максик...

Он перестал что-либо видеть, перед глазами возникла пелена, закружилась голова, стало тошнить. Ваня рухнул без сил на маму всем телом, голова его уткнулась ей в ногу, и он зарыдал во весь голос, стуча свободным кулаком об пол. Потом он перестал и просто лежал на её ноге, не двигаясь, уставившись в темноту своих глаз. Мама рыдала вместе с ним, плакал и отец. Лишь мертвое тело безучастно растянулось на руках матери.

– Отнеси его в комнату, – едва проговорила мама отцу, кивнув на маленького Ваню, – отнеси.

Ваня слабо почувствовал, что его подняли, сразу же провалившись во что-то тяжелое и глубокое.

Приехала скорая, забежали врачи, стали щупать пульс, разводить руками и говорить, что надо увезти в больницу для вскрытия...

Максика забрали, родители поехали с ним в больницу.

Вскоре его похоронили, в дождливый день, когда не светило солнце, не пели птицы, не резвились дети. Мир плакал по нему, по доброму и смелому. Он умер, неожиданно, случайно, когда никто не подозревал. Он ушел по-английски, не попрощавшись, не сказав никому и последнего своего слова, – и от этого родным было ещё тяжелее. Родители не могли принять это, не понимали, почему это самое несчастье произошло с ними, что же они такого натворили, что *Бог* отнял у них старшего сына, не предупредив об его скором уходе. «Зачем? Почему?» – надрылась мама каждый вечер. Отец замолчал и потускнел.

Максик умер от остановки сердца. Никто из врачей не мог сказать, по какой именно причине вдруг у здорового мальчика остановилось сердце, когда он умывался. Он последний раз улыбнулся во весь рот себе в зеркало, глянул на свои взъерошенные волосы, попытался их прилизать... Но в глазах потемнело, и он медленно скатился на пол по закрытой двери. Тихо и безмолвно. Шум воды скрыл от семьи его уход. Шум воды – и ничего...

Звон капель о камень жизни, темнота, мрак; заблудшая душа сидит и покорно внемлет голосу воды, который что-то бормочет, но точно отвернувшись.

– Привет, это я, Максик, – говорит он, – я пришел к тебе.

Но голос продолжает бубнить в другую сторону. Беспечно течет река – Стикс ли, Коцит ли. Из тумана показался фонарь, подвешенный на трость, лодка... Он отвернулся и закрыл глаза, чтобы уйти совсем, на покой. Голос замолк, пропал стук капель. Он упал назад и повис, в тишине и забвении...

Иван отошел от воспоминаний и уже тихо сидел на скамейке, положила ногу на ногу, откинувшись к спинке и положила руку на неё, но всё пристально смотрел куда-то вдаль, не осознавая окружающего.

Мимо сновали соседи, каждый здоровался, но Иван воспринимал их «Здравствуйте», только когда они сворачивали с дорожки на улицу; оно отдавалось эхом в его голове.

Его внимание что-то привлекло. До слуха донесся негромкий напев, где-то совсем близко. Иван стал лихорадочно водить глазами по сторонам и наконец заметил девочку: она ходила, немного опустив голову, и что-то мелодичное бормотала себе под нос. В руках у нее – казавшийся внушительным белый цветок, на длинном зеленом стебле, доходящем до пояса вокруг платица. Она мельтешила кругом от одного поребрика до другого, все разговаривая с цветком, гладила его и лелеяла. Иван смотрел на это, и чувство умиления наполняло его: эта девочка, будто ангел, ниспосланный с небес, проливала свет на его душу, его сознание, направляя в нужном жизненном фарватере, возвращая к реальному. Она будто пела ему, ласкала его, а он ощущал себя цветком, радостно приветствуя каждое её телодвижение. Он тянулся к ней...

– Что у тебя за цветок? – само по себе вырвалось в потоке блаженства.

– Лилия, – и девочка, мгновенно выйдя из своего «транса», близко подплыла к незнакомцу и развернула цветок бутоном.

– Прелестная лилия, – нежно протянул он.

А девочка все стояла и глядела ему в глаза, а он – в её...

– А что ты поешь ей?

– Про озеро. Она ведь тут одинешенька.

– Ей помогает?

– По крайней мере она еще пахнет и цветет, – рассудительно заключила она.

– Верно.

– Подержите в руках, – и она всучила ему стебель.

Он оказался мягким и ворсистым на ощупь. А запах... благовоние разошлось в секунду, каждая клеточка тела ощутила сладковатый медвяный аромат, открывающий пейзажи сельских полей с ромашками и подсолнухами, собранными стогами сена, на которые они любили забираться ночью и любоваться небосводом в далеком отрочестве. Белые лепестки лилии жеманно расходились в стороны, вполовину согнувшись и приняв вовеки грациозную позу.

– Оставьте её себе, – буркнула девочка и покраснела, – пусть и она напоминает вам о вашем озере.

Не успел Иван ничего ей ответить, как впереди мелькали уже спинка и поочередно поднимаемые ножки. Он с умиленной улыбкой принял подарок и еще раз вдохнул, опустив веки. Беспокойство улетучилось, наступило умиротворение...

Мысленно он набрел на Филиппа, и подобие улыбки вновь проступило на его лице. «Филя, друг ты мой, найти бы нам озеро... Опора ты моя в этой затасканной жизни. Куда я без тебя? Кто же, кроме тебя, сохранит память обо мне? – он приблизился лицом к цветку, погрузившись в его запах, а потом оттолкнулся с навязчивой мыслью: – Боже, как же я одинок». Он бездумно уставился перед собой, мимо цветка, куда-то в землю, немного покручивая стебель в руках, точно прикидывая какой-то план. «Надо пойти к нему», – решил он спустя несколько минут.

Филипп оказался у себя дома. В отличие от своего друга, он жил в большом достатке, в крайне просторной квартире. Когда зашёл Иван, его друг что-то писал.

– Филипп, можно к тебе? – неуверенно спросил гость.

– А? Что? Конечно, входи, присаживайся, – бегло проговорил хозяин, отодвигая кипу бумаг, лежавшую перед ним в путанице, в душе радуясь возможности отдохнуть от этого бесполезного вороха писанины.

– Филя, – начал неуверенно, в тоне извинения, Иван, – не могу я с тобой ссориться. Кроме тебя, у меня никого больше нет, – он прошел к небольшому трехногому столику около стены, расписанному в ярком римском стиле, на котором покоилась высокая керамическая ваза, тоже весьма выразительной и броской отделки, и опустил в неё лилию.

– Да, Ваня, прости меня за утро, сам от себя не ожидал такого, – Филипп поднял глаза на своего друга, заметил, что тот принес цветок, и хотел было осведомиться, но другое привлекло его: – Что с тобой?

– А что?

Иван бегло обернулся и поглядел на себя в зеркало. Лицо было нездорово бледным. Это озадачило его.

– Я не знаю, только утром же всё было хорошо. Ты ведь помнишь?

– Тебе надо к доктору, срочно, – Филипп вскочил впопыхах и начал что-то предпринимать. – Нет, доктора приведем сюда. Мало ли что с тобой по дороге ненароком случится, – он подлинно обрадовался своей гениальной идее.

Филипп стал звонить знакомому доктору, а Иван всё не мог оторвать от себя свой же прикованный взгляд. Он словно бы старался пощупать каждую клетку сильно изменившегося лица, прикасался и не верил. «Странно как-то», – подумалось ему.

– Я вызвал доктора сюда, подожди немного. Принести воды? Настя, принеси графин Ивану Богдановичу, со стаканом.

Филипп подошёл к своему гостю и бережно посадил его в кресло, налил воды и подал. Иван посмотрел в его глаза: они тревожно бегали, там отдавалось нешуточное волнение. «Хоть в этом он честен с собой», – в растерянности подумалось ему. Он молча взял стакан воды, медленно отпил, словно боялся порезать горло каждым глотком, и, не торопясь, поставил на

маленький журнальный столик подле кресла. Голова замерла, взгляд устремился в окно, руки опустились на колени, а он сам потерялся...

– Ваня, ну что же с тобой?

Иван всё так же недвижимо сидел в кресле. «Зачем мне всё это? Никому не нужна свобода. Настоящие они только в своем страхе...» – отдавалось в голове.

До прихода доктора Филипп мелкой неловкой поступью передвигался по комнате от угла к углу, сложив руки за спиной, и часто исподлобья поглядывал на своего друга, который продолжал безмятежно сидеть в кресле, косясь серыми потухшими глазами в то же окно. Раздался звонок в дверь, и хозяин пошёл открывать.

– Здравствуй, Петр Сергеич, – любезно поздоровался Филипп.

– Здравствуй, здравствуй, Филипп Кириллович. Что у тебя болит?

– Нет-нет, вот больной, – он указал на неподвижно сидящего Ивана.

Доктор кротко взглянул на пациента, повернулся к Филиппу и недоуменно шёпотом бросил: «Что с ним?» Тот сказал, что только что Ваня пришел к нему и «...сразу весь бледный, как сейчас вот сидит, я аж испугался, отродясь его таким не видывал». Потом доктор спросил про причины, и Филипп только недоуменно пожал плечами и пересказал вкратце их утренний спор.

– Здравствуйте, уважаемый, – восторженно поздоровался доктор и посмотрел на Ивана. Тот сидел молча и, казалось, не слышал доктора. – Здравствуйте, – уже настойчиво повторил доктор.

– Здравствуйте, доктор, – нехотя отрезал ему Иван, вздохнув не спеша.

– Как ваше самочувствие?

– Ничего, пойдёт для нормы.

– А по вам не скажешь, вы крайне бледны, взгляд несколько потерянный. Что с вами случилось?

– Я не знаю, утром вроде бы всё было хорошо, – вяло ответил Иван, говоря одними губами, – спросите у Филиппа, хотя он вам, наверно, уже рассказал.

– Да, рассказал, но не думаю, что вы побледнели из-за ссоры. Как из-за нее можно болезненно побледнеть? – он вопросительно глянул на Филиппа. – А как вы себя чувствуете, так сказать, морально? – теперь он вопрошающе уставился на Ивана, всё ещё не поворачивающегося.

– Я... я не знаю, доктор, тяжело на душе...

– Вот от этого ещё может быть слабость, – прервал доктор.

– Да, тяжело, – Иван не переменял взгляда и позы.

– Это все, что вы хотите сказать?

– Доктор, ведь вам же не интересно понять меня, а важно только поставить диагноз и узнать причину. Для вас это игра, бесчувственная работа, каждодневный монотонный труд, усыпивший вашу жизнь. Наверно, многого хочу от людей, даже слишком многого, непосильного для них – просто жить, быть собой и открыться миру. Не поступать по шаблонам, не руководствоваться рутинной. Ваша забота не поможет мне... морально, она бесчеловечна и мертва в этом смысле. Вам велит заботиться Гиппократ, долг службы, но до меня и моей жизни вам совсем нет дела.

– И Гиппократ, и Эскулап, – подшутил он, явно пытаясь своими шуточками расположить к себе этого весьма угрюмого пациента. – Да бросьте, я же вас пришел лечить всё-таки, а для доктора спасти ещё один организм – величайшее благо. А в нашем случае философствования могут пойти на пользу, но в меру, – он поднял указательный палец, – в меру, мой друг. Не перетруждайте себя великими мыслями, добром это дело может не кончиться, – сказал доктор серьезно, но со смеющимися глазами, поглядывая всё на Филиппа, который не до конца понимал, что делается в этой комнате. – Дельные у вас мысли, ценные, вы продолжайте, не

стесняйтесь, – подбадривал доктор, всё улыбаясь и истощая запас средств побуждения к расположению к себе.

Иван продолжал устало смотреть в окно. Он упрямо замолчал, не отдавая себе отчета в своем излишнем упорстве. Потому что ни этот доктор, ни какой-либо другой не поймут его, не смогут прочувствовать с ним его же переживания и мысли. Потому что сам не мог выразить словами тот хаос мысли, который роился в его голове. Это все вызывало апатию, равнодушие ко всему в этой комнате. Ему положительно не хотелось говорить.

– Мне кажется, из всего услышанного я только и могу заключить, что у вас депрессия, – после продолжительного молчания завел свою шарманку доктор и бегло глянул в сторону Филиппа, – и вполне естественно, что она сопровождается упадком сил. Я пропишу вам...

Иван молчал и не слушал доктора. Невидящими глазами смотрел он в одну из двух створок окна, обрамленную деревянной рамой, и думал о том, что настанет дальше. Куда ему дальше? И нужно ли вообще куда-то? Однако на стекле на появлялись ответы в виде испарений влаги, не капала магическим образом краска, выстраиваясь в слова. Хватит с него оставленных без ответов вопросов. Нужно просто жить, как и раньше. А как было раньше?

– Хорошо? – спросил доктор.

– Что?

– Я говорю, что пропишу вам успокоительные пилюли. Также настоятельно советую гулять подольше, дабы в лёгкие поступал свежий воздух, – последние слова доктор сказал слишком по-отечески заботливо.

– Да... хорошо, доктор, как скажете, – растерянно выдавил Иван. Сейчас ему всего лишь хотелось, чтобы его оставили одного, наедине с собой.

Доктор отошёл к Филиппу и сказал ему тихонько: «Друг мой, позаботьтесь о вашем приятеле, развлекайте его по возможности, иначе все это может плохо для нас всех кончиться, постарайтесь уж ему на милость». Филипп понимающе кивнул и проводил доктора.

Иван через некоторое время встал с кресла и тоже решил уходить. В прихожей непонимающим взглядом его встретил Филипп.

– Он ведь сказал, что мне надо больше быть на свежем воздухе.

– Но ты же совсем бледен, Ваня.

– Ничего, на лёгкий моцион сил хватит. Прощай.

– Тогда я с тобой, – Филипп уже было влез одной ногой в башмак, а рукой взялся за шарф, но Иван остановил его рукой и умоляюще посмотрел в глаза: тот всё понял и перестал собираться, сильно пожал ему руку и отпустил.

Он шел и перескакивал взором с лица на лицо. «Они ничего не чувствуют? Бездушные тела, отданные на целевой труд Всевышним диктатором. Или я ошибаюсь? Как можно: жить – и не чувствовать, губить то, что у тебя на сердце? Почему они отстраняют свою душу, притворяясь кем-то другим, кем они не являются и быть в глубине не хотят? Почему не прислушиваются к себе же? Какая деланная напыщенность вокруг...»

Он уже просто, не торопясь, брел прямо, не озираясь по сторонам, погруженный в свои думы. «Чего же нам недостает? Все ведь есть – только протяни руку и возьми. Но мы слепы, чтобы взять то, что нам предрасположено. Мы разучились различать подлинное от слепящей подделки. Зачем они все играют какую-то неброскую комедию вместо жизни? Повсюду театр, Венецианский карнавал, салонный маскарад высшей пробы. Но не то предписано, не то... Нам же природой указано быть людьми – чувствовать, сопереживать, творить. Вместо этого мы, не вдумываясь, потребляем давно изъезженное. А только посмотрите вокруг себя, откройте глаза на мир – он ведь чудесен, он натурален, жизнь сама чудесна, истинная жизнь, а не её фальсификация. Радость ли нас переполняет, горечь ли, страх, боль, волнение – это все наши чувства, наша сущность. Зачем от неё бежать?»

Не поднимая головы, он машинально следил за светлой полоской между плитами на тротуаре, всё убегающей от него. Резко нахлынула слабость, в глазах помутнело, ноги стали подкашиваться. Сквозь пелену он сумел разглядеть коричневую скамейку и направился к ней, пошатываясь. С трудом он сел, вытянув ноги вперед, и облокотился на спинку; кружилась голова. Мимо бегали люди, мимо протекала жизнь. «Вот она – их натуральная жизнь, эгоистичная жизнь, неестественно зацикленная на каждом из них. Они думают, что она существует только вокруг них, поэтому и не смотрят дальше и глубже на постороннее». Он задумался. «Но ходят, не смотрят, и... что? Что с того? Таковы мы, разве это плохо? Может, Филипп был прав про этого Ивана Иваныча?» Он притянул ноги: они уперлись во что-то мягкое. «Что это?» – он нагнулся: это был пёс. Иван ногами попал в тело пса, лохматого бродячего пса. Его косматая и безмятежная морда лежала на передней лапе чуть правее, под самым центром скамьи. Но пёс не двинулся, а так и остался лежать на месте; глаза его были закрыты навсегда. Иван протянул было руку, чтобы потрепать морду, чтобы попробовать влить в неё жизнь, чтобы опровергнуть это утверждение смерти, но попридержал её и одернул. Выпрямился на скамейке. «Да, когда-то был псом, много кушал и резвился с детишками, быть может, ловил тарелку и бегал за мячиком, а теперь тут, в одиночестве, когда лишь я один рядом, не знавший его, не видевший живым. Тяжко тебе пришлось, приятель, раз никто из знакомых твоих не сидит сейчас на этой скамейке. Был ли ты кому-то близким? В те самые минуты, когда даже у самого черствого человека на свете обязательно проявляется хоть какая-то толика любви, в минуты кончины, перед отплытием на другой берег, с тобой не оказалось никого. А ведь не важно, пёс ты или человек – чувствуешь ты одинаково, разве что газеты мы читаем и умываемся по утрам. Закат – один, воздух – один, небо, солнце и луна, деревья, листья – одни. Чувствуют они то же, что и мы, просто молча, в себе, и смотрят влюблённо и без памяти нам в глаза, пытаясь сказать, а мы глухи, мы не научились слышать, – несколько секунд он помолчал. – Ничего, все мы рано или поздно проигрываем борьбе с жизнью, ничего, дружок, верю, что ты бился упорно и храбро». Иван нагнулся и снова посмотрел на пса, на его закрытые навсегда глаза; на морде сохранилась печаль, её след ещё был заметен, вперемешку со смирением. Да, это было смирение, соглашение со своей участью, несмотря на всю её тягость. «Да, нужно быть смиренными перед... Твоим лицом. Да, перед Тобой, всё мы ведь перед Тобой, не оставляй нас, не покидай», – умоляюще он посмотрел на небо. Взор его задержался, будто он ждал ответа. Хотя сам он и знал, что никакого ответа не последует.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.